

АВИА КОМПА

МЫ - ЖИВЫЕ



LITRU.RU

Это первый роман известной американской писательницы русского происхождения. Главная его тема - Человек против Государства, Личное Счастье против Общественного Блага - мастерски проведена через фон драматических событий в жизни Петрограда — Ленинграда начала 20-х годов.

Автор без какого-либо снисхождения к своим героям рассказывает нам о том смутном периоде нашей истории. Бывший аристократ в служебном рвении перед новым режимом предаёт друзей и близких. Герой гражданской войны после всех своих побед изменяет делу партии. Любовь главной героини к сыну расстрелянного адмирала приводит к любовной связи с сотрудником ГПУ. Узел проблем затягивается.

Айн Рэнд

Мы - живые

Безумие единиц — исключение, а безумие целых групп, партий, народов, времен — правило.

Фридрих Вильгельм Ницше

Предисловие к первому изданию

Эйн Рэнд — известная американская писательница. Общий тираж ее произведений исчисляется десятками миллионов экземпляров. Удивительно, но ее имя до сих пор не известно в России. Это тем более удивительно, если учесть, что родилась она в Санкт-Петербурге в 1905 году. Вместе с семьей она терпит лишения беженцев во время гражданской войны. После поражения Белой армии семья решает вернуться в Петроград. С 1921 года Эйн изучает историю в петроградском университете.

С самого возвращения в Петроград и по мере становления «нового режима» Эйн не покидает желание вырваться свободу. В 1926 году ее мечте было суждено осуществиться. Советское правительство разрешило ей выезд в Америку, и она уже больше не возвращается в Россию.

— Если они спросят тебя в Америке — скажи им, что Россия — это огромное кладбище и что все мы медленно погибаем.

Так напутствовали ее перед отъездом близкие люди. Она обещает выполнить эту просьбу и пишет книгу «Мы — живые».

Это ее первый роман. Он о Петрограде-Ленинграде начала 20-х годов. О полуголодном существовании побежденных и не немного лучшем — за счет жалких крох со стола Власти — победителей. О том, как легко забывают про честь и собственное достоинство, совершая маленькие и большие подлости, измены, предательства. О времени, когда люди перестают доверять друг другу.

В последние годы распространено мнение о том, что русский народ испортили большевики. Книга Эйн Рэнд, эмигрантки, ненавидящей коммунистический и любой другой тоталитарный режим, ставит под сомнение это удобное для «национального самосознания» утверждение.

Главная идея книги — индивидуализм. Способность человека оставаться самостоятельно мыслящим существом независимо от обстоятельств. Пусть все окружающие превращаются в покорное и послушное стадо, кто имеет силу воли и цель — должен добиваться своего счастья. И такие люди в книге есть.

Для Киры Аргуновой — главной героини романа — счастьем было то, чтобы заниматься любимым делом и жить с любимым человеком. Ее не интересует политика, ей почти безразличны чьи-либо убеждения и устремления. У нее есть своя цель, у нее есть любимый человек. Но государственный аппарат не может позволить отдельному человеку жить своей независимой жизнью. И поэтому, по мере развития событий, Кира все более утверждает в необходимости уехать из России.

Сама Эйн Рэнд пишет о книге: «Идеологически я сказала точно то, что хотела, и у меня не было трудностей в выражении моих идей. Я хотела написать роман о Человеке против Государства. Я хотела показать в качестве основной темы величайшую ценность человеческой жизни и аморальность отношения к людям, как к жертвенным животным, и управления ими с помощью физической силы. Мне это удалось.»

Роман был закончен в 1933 году. И вот теперь, спустя 60 лет, роман о России возвращается в Россию. Думается, идеи Эйн Рэнд, высказанные в этой книге и в ее последующих сочинениях очень важны для нас, сегодняшних россиян. В смутное время, которое мы переживаем, многое зависит от того, достаточно ли у нас найдется людей, способных брать на себя ответственность за свои слова и поступки, желающих и могущих настойчиво и профессионально делать свое дело. Именно таким людям посвятила свое творчество Эйн Рэнд.

Поскольку россиянам впервые предстоит знакомство с творчеством этой удивительной

женщины, уместно сказать о ней еще несколько слов.

«Моя философия — рассказывает Рэнд, — это представление человека как существа героического, для которого моральная цель жизни — собственное счастье, самая благородная деятельность — творчество, а единственный абсолют — разум».

В 1991 году Библиотека Конгресса США провела опрос среди своих читателей с целью выявить книги, которые оказали наибольшее влияние на их жизни. Библия возглавила список; следом за ней — один из романов Эйн Рэнд «Атлант расправил плечи».

«Душа капитализма», «Единственный мужчина в Америке» — так называли писательницу американцы. А как назовем ее мы, ее соотечественники? Время покажет.

Несомненно одно — ее книги станут любимыми для миллионов граждан России.

От имени всех участников проекта по первому изданию собрания сочинений Эйн Рэнд на русском языке поздравляем российских читателей с выходом в свет первого тома — «Мы — живые».

Е. Гвоздев Д. Костыгин

В Петрограде воняло карболкой.

Розово-серое знамя, которое было когда-то красным, развевалось в переплетении стальных перекладин. Высоченные балки поддерживали крышу из стеклянных панелей, серых, словно сталь, от многолетней пыли и ветра. Некоторые панели были разбиты, пронзенные давно забытыми выстрелами, острые края торчали на фоне такого же серого, как и стекло, неба. Под знаменем болталась бахрома паутины; под паутиной — огромные железнодорожные часы без стрелок с черными цифрами на пожелтевшем циферблате. Под часами толпа бескровных лиц и засаленных тулупов ждала поезд.

Кира Аргунова возвращалась в Петербург на подножке товарного вагона. Ее стройные ноги были загорелыми; в своем голубом выцветшем костюме она стояла прямо, неподвижно, с гордым безразличием пассажира роскошного океанского лайнера. Старый кусок шотландского шелка был замотан вокруг ее шеи. Короткие взъерошенные волосы выбивались из-под вязаной шапочки с ярко-желтой кисточкой. У Киры был спокойный рот и слегка расширенные глаза с вызывающим, восхищенным, торжествующим и выжидающим взглядом воина, который входит в незнакомый город и не совсем уверен, входит ли он как завоеватель или как пленник.

Вагон за спиной Киры был забит людьми и узлами. Вещи были завязаны в простыни, забиты в мешки из-под муки, прикрыты газетами. Люди кутались в истрепанные накидки и шали. Бесформенные узлы служили им постелями. Пыль вычерчивала морщины на иссушенной, потрескавшейся коже лиц, давно уже утративших всякое выражение.

Медленно, устало поезд приблизился к остановке, последней за долгий путь через разоренные просторы России. На трехдневный переезд из Крыма в Петроград ушло три недели.

В 1922 году работа железных дорог, так же, как и всего остального, все еще не была налажена. Гражданская война подошла к концу. Последние следы Белой армии были уничтожены. Но в то время как Красная власть взнуздывала страну, сеть стальных рельсов и телеграфных столбов все еще безвольно висела, ускользая от ее железной хватки.

Не было расписаний, не было справочных. Никто не знал, когда может прибыть или отправиться поезд. Неопределенные слухи, что он прибывает, собирали толпы встревоженных пассажиров на каждой станции. Они ждали часами, днями, боясь отлучиться с вокзала, где поезд мог появиться через минуту, а мог и через неделю. Заваленные мусором полы в залах ожидания воняли человеческими телами. Люди кидали узлы на пол, а свои тела прямо на узлы, и спали. Они терпеливо жевали засохшие корки хлеба и семечки, не снимая одежду неделями. Когда наконец, фыркая и тяжело вздыхая, поезд подкатывал к перрону, люди бросались на приступ, вооруженные лишь кулаками, ногами и свирепым отчаянием. Они намертво прилипали к ступенькам, к буферам, к крыше. Они теряли багаж и детей; без звонка или объявления поезд внезапно трогался, унося с собой тех, кому посчастливилось зацепиться.

Кира Аргунова начинала свой путь не в товарном вагоне. Вначале у нее было отдельное место — маленький стол у окна пассажирского вагона 3-го класса; этот стол был центром купе, а Кира — центром внимания пассажиров.

Молодой совслужащий восхищался линией, которую силуэт ее тела вычерчивал на освещенном квадрате разбитого окна.

Рыхлая дама в меховой шубе негодовала, потому что вызывающая поза девушки чем-то напоминала танцовщицу кабаре, пристроившуюся на столике среди бокалов шампанского, но у этой «танцовщицы» лицо было исполнено такого строгого и надменного спокойствия, что женщина даже усомнилась: а может, все-таки не столик кабаре, а пьедестал?.. На протяжении

многих верст соседи по купе всматривались в поля и луга России, мелькавшие словно фон для гордого профиля с копной каштановых волос, отброшенных с высокого лба ветром, который свистел снаружи в телеграфных проводах.

Из-за недостатка свободного места ноги Киры покоились на коленях ее отца. Александр Дмитриевич Аргунов устало сгорбился в своем углу, сложив ладони на животе; его красные, опухшие глаза были наполовину прикрыты дрожащими веками, время от времени он со вздохом вздрагивал, обнаружив, что дремлет с открытым ртом. Он кутался в залатанную накидку цвета хаки, на нем были высокие крестьянские сапоги со стоптанными каблуками и рубашка из мешковины. На спине все еще можно было прочесть: «Украинский картофель». Это не было сознательной маскировкой, просто другой рубашки у Александра Дмитриевича не осталось. И он ужасно беспокоился, как бы кто не заметил, что оправа его пенсне из чистого золота.

Прижатая к его локтю, Галина Петровна, его жена, старалась держать спину прямо, а книгу высоко у кончика носа. Она сохранила книгу, но потеряла все свои заколки в борьбе за место в поезде, когда ее усилиями семье все же удалось протиснуться в вагон. Она старалась, чтобы соседи не заметили, что книга на французском.

Время от времени она осторожно касалась ногой под сиденьем самого драгоценного узла, чтобы убедиться, что он все еще на месте, закутанный крест-накрест в расшитую скатерть. Этот узел хранил последние остатки ее кружевного нижнего белья ручной работы, купленного в Вене перед войной, и столовое серебро с инициалами семьи Аргуновых. Она ужасно негодовала, потому что не могла помешать тому, что узел служил подушкой солдату, спавшему под скамейкой, — его сапоги торчали в проходе.

Лидии, старшей дочери Аргуновых, приходилось ютиться в проходе сразу за сапогами, на одном из узлов; но всем своим видом она давала понять каждому пассажиру в вагоне, что она не привыкла к такому виду передвижения. Лидия не старалась скрыть внешние признаки социального превосходства, из которых с гордостью выставляла три: жабо из запятнанных, но вышитых золотом кружев на истрепанном бархатном костюме, пару тщательно заштопанных шелковых перчаток и флакон одеколona. Она извлекала флакон через определенные промежутки времени, чтобы растереть несколько капель по своим заботливо ухоженным рукам, и быстро прятала его, отмечая страдальческий взгляд матери, искоса брошенный поверх французской книги.

Прошло уже четыре года с тех пор, как семья Аргуновых покинула Петроград. Четыре года назад текстильная фабрика Аргуновых на окраине столицы была национализирована именем народа. Так же во имя народа банки были провозглашены национальной собственностью. Сейфы Аргунова были взломаны и разграблены.

Великолепные ожерелья из рубинов и бриллиантов, которые Галина Петровна с гордостью демонстрировала на блистательных балах и благоразумно прятала после приемов, попали в неизвестные руки, и больше никто никогда их не видел.

В те дни, когда тень растущего безымянного страха висела над городом, навалившись словно тяжелый туман на неосвященные уличные углы, когда внезапные выстрелы разрывали ночь, грузовики, ощерившись штыками, громыхали по мостовым и витрины магазинов разламывались со звонким вскриком стекла; когда круг знакомых Аргуновых внезапно растаял, как снежинки над костром; когда Аргуновы оказались в стенах их столичного гранитного особняка со значительной суммой денег, с несколькими последними украшениями, с постоянным ужасом при каждом звуке дверного звонка, — побег из города стал единственным возможным действием.

Буря революционной борьбы в те дни уже замерла в Петрограде, безропотно и безнадежно признав победу красных, но на юге России она все еще грохотала на полях Гражданской войны.

Юг находился в руках Белой армии. Разрозненные отряды этой армии были раскиданы по просторам страны, разъединенные тысячами верст искореженных железных дорог и безлюдных деревень: эта армия воевала под трехцветными знаменами, проявляя страстное, умопомрачительное презрение к врагу — и полное непонимание его опасности.

Аргуновы уехали из Петрограда в Крым, чтобы там дожидаться освобождения столицы из-под красного ярма. Они покинули гостиные с огромными зеркалами, отражающими сверкающие хрустальные люстры: породистых лошадей и благоухающие в солнечные зимние дни меха; роскошные окна, выходящие на Каменноостровский проспект, — богатейшую улицу Петрограда, где выстроились в ряд великолепные особняки. Их ожидали четыре года в перенаселенных летних лачугах, где пронизывающие крымские ветры свистели в дырявых каменных стенах; чай с сахарином и луковицы, поджаренные на льняном масле; ночные обстрелы и кошмарные рассветы, когда только по красным флагам или трехцветным знаменам па улицах можно было понять, в чьи руки перешел город.

Крым переходил из рук в руки шесть раз. В 1921-м борьба закончилась. От берегов Белого моря до берегов Черного, от границы с Польней до желтых рек Китая красное знамя с триумфом поднялось под звуки «Интернационала» и позвякивание ключей — это двери других стран закрылись перед Россией...

Аргуновы покинули Петроград осенью, тихо и почти весело. Они рассматривали свою поездку как неприятное, но короткое недоразумение. Они рассчитывали вернуться назад весной. Галина Петровна не позволила Александру Дмитриевичу взять с собой шубу. «Вы подумайте. Он считает, что она продержится целый год!» — смеялась она, подразумевая Советскую власть.

Пять лет она продержалась. В 1922-м, с безропотным, тупым смирением, семья отправилась поездом обратно в Петроград, чтобы начать жизнь с начала, если такое начало вообще было возможно.

Когда они забрались в поезд и колеса лязгнули, дернувшись в первом рывке в сторону Петрограда, Аргуновы переглянулись, но не произнесли ни слова. Галина Петровна думала об их особняке на Каменноостровском и о том, смогут ли они получить его обратно; Лидия вспоминала старую церковь, где она в детстве преклоняла колени каждую Пасху, и думала о том, что обязательно зайдет туда в первый же день в Петрограде; Александр Дмитриевич ни о чем не думал; Кира внезапно вспомнила, что, когда она ходила в театр, любимым ее моментом был тот, когда гасли огни и занавес трепетал перед раскрытием, — и она удивилась, почему она вспомнила именно этот момент.

Стол Киры располагался между двумя деревянными скамейками. Десять голов смотрели друг на друга, словно две напряженные, враждебные, раскачивающиеся в такт поезда стены — десять истощенных, пыльно-белых пятен в полумраке: Александр Дмитриевич и слабый отблеск его золотого пенсне; Галина Петровна с лицом блее, чем страницы ее книги; молодой совслужащий с новым кожаным портфелем, по которому плясали зайчики света; бородатый крестьянин, который был одет в вонючий тулуп и постоянно чесался; изможденная женщина с обвисшей грудью, постоянно истерично пересчитывающая свои узлы и детей; смотрящие на них два босоногих лохматых мальчика и солдат с запрокинутой головой, желтые лапти которого покоились на чемодане из крокодиловой кожи, принадлежащем рыхлой женщине в меховой шубе — единственной пассажирке с чемоданом и с розовыми упитанными щеками, — а рядом с ней бледное, веснушчатое лицо раздраженной женщины с гнилыми зубами, в мужском пиджаке и красном платке поверх волос.

Через разбитое окно луч света пробивался внутрь как раз над головой Киры. Пыль танцевала в луче, который обрывался на трех парах сапог, свисавших с верхней полки, где теснились трое солдат. Над ними, в багажной нише, скрючился, упираясь грудью в потолок,

чахоточный юноша, беспробудно спящий. Он натужно храпел, дыша через силу. Под ногами пассажиров колеса стучали так, словно брусок ржавого железа разлетался на куски, и куски эти откатывались, громыхнув три раза: и вновь брусок и громыхающие куски, и снова брусок, и снова куски; колеса продолжали громыхать, а юноша иногда затихал, издавая слабый стон, — и вновь поверх голов пассажиров разносилось мужское дыхание с присвистом, как будто воздух вырывался из проколотой шины.

Кире было восемнадцать лет, и она думала о Петрограде. Все попутчики говорили о Петрограде. Она не знала, были ли все фразы, прошептанные в пыльном воздухе, произнесены в течение часа, или в течение дня, или на протяжении двух недель в грохочущем тумане, состоящем из пыли, пота и страха. Она не знала, потому что не вслушивалась.

— В Петрограде едят сушеную рыбу, граждане.

— И подсолнечное масло.

— Подсолнечное масло? Не может быть!

— Степка, не скреби голову надо мной, скреби в проходе!

— В кооперативах в Петрограде давали картошку. Немного подмороженную, но настоящую картошку.

— Вы когда-нибудь пробовали пирожки из кофейных зерен с патокой, граждане?

— В Петрограде грязи по колено.

— Вот простои́те в очереди у кооператива три часа и тогда, возможно, получите что-нибудь съедобное.

— Но в Петрограде же НЭП.

— А что это такое?

— Никогда не слышали? Вы несознательный гражданин.

— Да, товарищи, в Петрограде нэп и частные магазины.

— Если ты не спекулянт, то сдохнешь с голодухи, ведь денег-то пойти в частный магазин у тебя нет, а следовательно, будешь стоять в очереди у кооператива; но если ты спекулянт, можешь пойти и купить все что захочешь, а раз ты там покупаешь, значит, ты спекулируешь и, следовательно, воруешь.

— В кооперативах дают пшено!

— Что ни говори, пустое брюхо — оно и есть пустое брюхо. Только вошь жирует!

— Прекратите чесаться, граждане.

Кто-то с верхней полки сказал:

— Вот доберусь до Петрограда, первым делом гречневой каши наверну.

— О, Господи, — вздохнула женщина в меховой шубе, — одного и хотела бы, как приеду в Петроград, — принять ванну, прекрасную, горячую ванну с мылом.

— Граждане, — решила спросить Лидия, — продают ли мороженое в Петрограде? Я не пробовала его уже пять лет. Настоящее мороженое, холодное, такое холодное, что перехватывает дыхание.

— Да, — произнесла Кира, — так холодно, что перехватывает дыхание... но можно пойти побыстрее, и кругом огни, длинная цепь огней, проплывающих рядом с тобой, а ты идешь мимо...

— О чем это ты? — прищурилась Лидия.

— О чем? О Петрограде, — Кира взглянула на нее с удивлением. — Я думала, ты вспомнила Петроград и как там холодно, а разве нет?

— Нет. Ты опять ничего не слышала — как обычно.

— Я вспомнила улицы. Улицы огромного города, где столько всего возможно и столько разных приключений может с тобой произойти.

Галина Петровна сухо заметила:

— И ты говоришь об этом с таким восторгом? По-моему, мы все утомлены и с нас достаточно тех «приключений», что происходят сейчас. Разве тебе мало всего того, что мы пережили из-за революции?

— О, да, — безразлично произнесла Кира. — Революция.

Женщина в красном платке развязала узелок, достала кусок сушеной рыбы и сказала в сторону верхней полки:

— Добром прошу, убери сапоги в сторону, гражданин. Я ем!

Сапоги не дрогнули. Голос ответил:

— Не носом же ты ешь.

Женщина откусила кусок рыбы, сердито пихнула локтем в меховую шубу соседки и язвительно прошипела:

— Конечно, пролетарии не в счет. Вот если бы у меня была меховая шуба... Только тогда я бы не ела сушеную рыбу. Я бы жевала белый батон.

— Батон? — испугалась дама в меховой шубе. — Но почему, гражданка? Какой нынче белый хлеб? К тому же у меня племянник в Красной Армии, гражданка, и... да я и мечтать не смею о белом хлебе!

— Нет? А спорим, что сушеную рыбу жрать не будешь? Хочешь кусочек?

— Э... видите ли, да, спасибо, гражданка... Я немного проголодалась и...

— Ах, проголодалась? Вот как? Знаю я вас, буржуев. Вам бы только вытащить последний кусок из трудового рта! Но из моего рта не вытащишь!

Вагон пропах гнилым деревом, одеждой, которую не снимали несколько недель, и смрадом, распространявшимся из маленькой двери, распахнутой в конце вагона. Дама в меховой шубе поднялась и робко стала пробираться к двери, переступая через тела в проходе.

— Не можете ли вы посторониться на секунду, граждане? — вежливо попросила она двух мужчин, которые ехали с комфортом в коридоре: один из них на бачке для мусора, а второй растянулся в грязи на полу.

— Конечно, гражданка, — ответил сидящий и пнул того, который лежал на полу, чтобы разбудить его.

Закрывшись одна в туалете и убедившись, что ее никто не видит, дама в меховой шубе раскрыла сумку и развернула небольшой сверток в промасленной бумаге. Она не хотела, чтобы кто-нибудь в вагоне знал, что у нее есть целая вареная картофелина. Давясь, она торопливо глотала ее большими кусками, стараясь, чтобы ничего не было слышно за дверью.

Когда она вышла, то обнаружила, что двое мужчин ожидают ее выхода около двери, чтобы вернуться на свои места.

Ночью два закопченных фонаря висели по одному над каждой дверью в разных концах вагона; два мерцающих желтых пятна в темноте и серое ночное небо, дрожащее в квадратах разбитых окон. Черные фигуры, заснувшие сидя, окоченевшие и безвольные, словно манекены, качались в такт перестуку колес. Некоторые храпели. Некоторые стонали. Никто не разговаривал.

Когда они проезжали станцию, луч света проскакивал сквозь вагон, и в его свете на мгновение вспыхивала ссутулившаяся фигура Киры, уткнувшей лицо в руки, сложенные поверх колен. Уже на исходе луч успевал разбросать искры в ее волосах.

Где-то в поезде солдат наяривал на аккордеоне. Он горланил час за часом, сквозь мрак, колеса и стоны, тупо, неустанно, безнадежно. Никто не смог бы сказать, веселая это песня или печальная, шутка или бессмертное творение: это была первая песня революции, взметнувшаяся из ниоткуда, бесшабашная, безрассудная, злобная, наглая; ее пели миллионы глоток, эхо песни

раскатывалось по крышам поездов, на деревянских дорогах и на темных городских тротуарах; некоторые голоса смеялись, некоторые причитали; люди смеялись над своей собственной печалью; песня революции, не вышитая ни на каком знамени, но вевшаяся в каждую утомленную глотку, песня «Яблочко»: «Эх, яблочко, куда ж ты котишься?»

Эх, яблочко, куда ж ты котишься?

К немцам в лапы попадешь, не воротишься...

Эх, яблочко, да недоспелое.

Я-то в красные пошел, а милка в белые...

Эх, яблочко, куда...

Никто не знал, что это было за яблочко, но песню понимали все.

Каждой ночью много раз дверь темного вагона распахивалась пинком, и фонарь, покачивающийся в руке, разрывал темноту вагона, а за фонарем входили блестящие стальные штыки, военные формы, латунные пуговицы, винтовки, и мужчины с твердыми повелительными голосами приказывали: «Ваши документы!» Фонарь медленно проплывал, вздрагивая, вдоль вагона, останавливаясь на бледных, испуганных лицах с мигающими глазами и на трясущихся руках со скомканными клочками бумаг.

Галина Петровна, стараясь понравиться, повторяла:

— Здравствуйте, товарищи. Вот, товарищи, — и протягивала к фонарю кусок бумаги с несколькими напечатанными строчками, которые гласили, что это разрешение на переезд в Петроград дано гражданину Александру Аргунову с женой Галиной и дочерьми: Лидией, двадцати восьми лет, и Кирой, восемнадцати лет.

Мужчина с фонарем всматривался в бумагу, совал ее обратно и шел дальше, переступая через ноги Лидии, протянутые в проходе.

Иногда некоторые мужчины бросали быстрый взгляд на девушку, которая сидела на столе. Она не спала, и ее глаза следили за ними. В этих глазах не было страха, они были самоуверенны, любопытны, враждебны.

Затем мужчины и фонарь исчезали и снова где-то в поезде причитал солдат с аккордеоном:

Эх, яблочко, да закатилось,

А России нет — провалилася...

Эх, яблочко, куда ж ты котишься?

Иногда ночью поезд останавливался. Никто не знал, почему он останавливался. Не было никакой станции, никаких признаков жизни в бесплодной пустыне, протянувшейся на многие версты. Пустое пространство неба висело над пустым пространством земли; па небе было несколько черных пятен облаков; на земле — несколько черных пятен кустов. Чуть заметная красная трепещущая линия разделяла их; она выглядела словно далекая гроза или пожар.

Слухи расползались по длинной цепи вагонов:

— Котел взорвался!..

— Впереди, в полуверсте взорван мост...

— В поезде обнаружили контрреволюционеров и теперь их расстреляют прямо здесь, в кустах...

— Если мы стоим дольше... бандиты... вы знаете...

— Говорят, Махно где-то здесь, по соседству.

— Если он наткнется на нас, вы представляете себе, что это значит? Никого из мужчин не останется в живых. А женщины останутся, хотя многие и предпочли бы смерть...

— Прекратите нести вздор, гражданин. Вы нервируете женщин. Проекторы пронизывали облака и мгновенно пропадали, и никто не мог сказать, рядом они, эти проекторы, или за много километров от поезда. И никто не мог знать, было ли замеченное ими и вроде бы

движущееся пятно всадником или всего лишь кустом.

Поезд трогался так же неожиданно, как и останавливался. Вздохи облегчения приветствовали скрежет колес. Никто никогда не знал, почему останавливался поезд.

Рано утром несколько мужчин стремительно прошагали сквозь вагон. У одного из них была бляха Красного Креста. Снаружи раздавались суматошные крики. Один из пассажиров купе последовал за мужчинами. Когда он вернулся, его лицо заставило остальных поежиться.

— В следующем вагоне, — выдавил он. — Глупая крестьянка. Ехала между вагонов и привязала ноги к буферу, чтобы не упасть.

Заснула ночью, слишком устала. И свалилась. Ноги привязаны, ее волочило вместе с поездом под вагоном. Голову оторвало начисто. Зря ходил смотреть, не надо было.

На полпути к Петрограду, на одинокой маленькой станции, где стояла сгнившая платформа, по которой ходили расхлябанные солдаты и висели яркие плакаты, также изображавшие солдат, оказалось, что пассажирский вагон, в котором ехала семья Аргуновых, не может двигаться дальше. Вагоны не ремонтировались и не проверялись годами, и, когда в итоге они неожиданно разваливались, ремонт уже не мог помочь. Пассажирам просто приказывали быстро выбираться из вагона. Им оставалось лишь попытаться втиснуться в другие вагоны, и без того забитые. Иногда это удавалось.

Аргуновы пробилась в товарный вагон. Галина Петровна и Лидия с благодарностью перекрестились.

Женщина с обвисшей грудью не смогла найти места для своих детей. Когда поезд тронулся, было видно, как она сидит на своих узлах, глядя на поезд тупым, безнадежным взглядом, а удивленные ребятишки дергают ее за юбку.

Через степи и болота ползла длинная цепь вагонов, за ними плыл и таял белыми перышками хвост дыма. Солдаты жались в кучки на покатых скользких крышах. У некоторых из них были губные гармоники. Наигрывая, они горланили «Яблочко». Песня летела за ними и таяла в дыму.

В Петрограде каждый поезд встречала толпа. Кира Аргунова столкнулась с ней, когда последний скрежет колес локомотива замер в сводах вокзала. Аюдьми в бесформенных одеждах двигала жесткая, неестественная энергия долгой борьбы, которая стала привычкой; их лица были хмурыми и изможденными. За ними виднелись высокие зарешеченные окна; за окнами был город.

Киру теснили вперед нетерпеливые попутчики. Перед тем, как спрыгнуть на платформу, она на несколько коротких мгновений замерла в нерешительности, словно осознавая значение этого шага. На ее смуглых ногах были самодельные деревянные сандалии. На один миг ее нога повисла в воздухе. Затем деревянная сандалия прикоснулась к деревянному настилу платформы. Кира Аргунова была в Петрограде.

«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»

Кира смотрела на слова, намалеванные на голых стенах вокзала. Штукатурка осыпалась, оставляя черные пятна, отчего стены казались прокаженными. Но на них были наляпаны свежие надписи. Красные буквы гласили: «Да здравствует диктатура пролетариата! Кто не с нами, тот против нас!»

Буквы были намазаны красной краской через трафарет. Некоторые линии получились кривыми. Некоторые буквы высохли, пустив длинные, тонкие подтеки красных извилин вниз по стенам.

К стене под надписями прислонился парень. Мятая овчинная шапка была нахлобучена на его соломенные волосы, которые развихрялись над бесцветными глазами. Он бесцельно пялился в пространство перед собой и щелкал семечки, сплевывая шелуху через угол рта.

Между поездом и стеной бурлил водоворот хаки и красного, затащивший Киру в гущу солдатских шинелей, небритых лиц, красных платков, беззвучно открытых ртов, чьи крики проглатывались грохотом двигавшихся по платформе сапог, усиленным эхом, отдававшимся в высоком стальном перекрытии. На старой бочке с ржавыми кранами и с жестяной кружкой, прикрепленной цепочкой, красовалась надпись: «Кипяток» и огромными буквами: «Берегись холеры. Не пей сырой воды». Беспризорный пес с ребрами как у скелета и поджатым хвостом принюхивался к грязному полу в поисках пищи. Двое вооруженных солдат продирались через толпу, таща за собой крестьянку, которая отбивалась и всхлипывала:

— Товарищи! Я ничего не сделала! Братцы, куда вы меня тащите? Товарищи, дорогие. Господи, помоги мне, я ничего не сделала!

Где-то внизу, среди сапог, плевков, грязных измятых юбок кто-то монотонно завывал; это был не человеческий голос, но и не собачий вой: женщина ползала на коленях, пытаясь собрать рассыпавшийся мешок проса, всхлипывая, сгребая зернышки вперемешку с шелухой семечек и окурками.

Кира взглянула на высокие окна. Снаружи она услышала старый, знакомый с детства пронзительный звук трамвайного колокола. Она улыбнулась.

У двери с надписью «Комендант» стоял молоденький солдат-часовой. Его глаза были суровы и внушали страх, как темницы склепа, где лишь слабый огонек теплится под ледяными серыми сводами; безрассудная смелость застыла в чертах его загорелого лица, в руках, что сжимали винтовку, в шее, торчащей из расстегнутого воротника рубашки. Кире он понравился. Она взглянула ему прямо в глаза и улыбнулась. Ей показалось, что он понял ее, — увидел, что для нее начинается новая, большая жизнь.

Солдат холодно и безразлично скользнул по Кире взглядом. Она повернулась и пошла к своим немного разочарованная, хотя она и сама не знала точно, чего ожидала.

Солдат успел заметить лишь то, что у незнакомой девушки в детской вязаной шапочке были странные глаза; и еще — что на ней был светлый костюм, но не было лифчика; последнее его нисколько не покорило.

— Кира! — голос Галины Петровны прорвался сквозь гул вокзала. — Кира! Где ты? Где твои узлы? Что случилось с твоими узлами?

Кира вернулась к товарному вагону, где ее семья сражалась с багажом. Она совсем забыла, что должна нести три узла — носильщики были непозволительной роскошью. Галина Петровна отбивалась от них — здоровенных бездельников в истрепанных солдатских шинелях, которые хватили багаж без всяких просьб, нагло предлагая свои услуги.

И вот, отягченные тюками с последними остатками бывшего состояния, семья Аргуновых ступила на землю Петрограда.

Золотой серп и молот были прикреплены над выходом у вокзала. По сторонам висели два плаката. Один изображал громадного рабочего, чьи гигантские сапоги крушили игрушечные дворцы, в то время как его поднятая рука, с мышцами красными, словно кусок мяса, приветствовала столь же красное восходящее солнце. Над солнцем стояли слова: «Товарищи! Мы — строители Новой Жизни!».

Второй плакат знакомил с огромной белой вошью на черном фоне с красными буквами: «Вши распространяют болезни! Товарищи, все на борьбу с тифом!» Вонь карболки перебивала все остальные запахи. Здания вокзала были продезинфицированы от болезней, которые выплескивались на город с каждым поездом. Словно у больничного окна вонь висела в воздухе, как предупреждение и зловещее напоминание.

Двери в Петроград открывались на Знаменскую площадь. Знак на углу провозглашал ее новое имя: «Площадь Восстания». Огромный памятник Александру III смотрел на вокзал на фоне серого здания гостиницы, на фоне серого неба. Капли падали одна за другой через долгие промежутки, медленно, монотонно, как будто небо протекало, как будто оно тоже нуждалось в ремонте, как и прогнившие деревянные настилы, на которых капли вспыхивали серебряными искорками в темных лужах. Это был ненастоящий дождь.

Закрытые крыши раскачивающихся и вздрагивающих двухколесных дрожек выглядели так, словно были сделаны из лакированной кожи; колеса чавкали в грязи словно голодные животные. Старые здания взирали на площадь мертвыми глазами закрытых магазинов, из чьих пыльных витрин паутина и скомканные газеты не выметались уже пять лет. Но один из магазинов нацепил картонную вывеску: «Продовольственный Центр». Очередь переминалась с ноги на ногу у двери, загибаясь за угол: длинная цепь ног в обуви, разбухшей от дождей, красных замерзших рук, опущенных голов, поднятых воротников, за которые свободно падали и скатывались вниз по спинам дождевые капли.

— Ну, — произнес Александр Дмитриевич, — вот мы и вернулись.

— Разве это не прекрасно! — сказала Кира.

— Грязно, как всегда, — сказала Лидия.

— Придется взять извозчика. Хоть и дорого! — сказала Галина Петровна.

Они набились в одни дрожки; Кира устроилась поверх узлов. Лошадь рванула вперед, окатив грязью ноги Киры, и повернула на Невский проспект. Длинная, широкая улица лежала перед ними, такая прямая, словно позвоночник города. Вдали тонкий золотой шпиль Адмиралтейства слабо блестел в серой дымке, словно длинная рука, взметнувшаяся в торжественном приветствии.

Петроград пережил пять лет революции. Первые четыре года перекрыли каждую его артерию, ликвидировали все магазины; национализация размазала пыль и опутала паутиной зеркальные витрины; последний год вернул мыло, метлы, свежую краску и привел новых владельцев, потому что новая экономическая политика провозгласила «временный компромисс» и позволила вновь робко открыться маленьким частным магазинчикам.

После долгого сна Невский медленно открывал глаза. Они долго привыкали к свету и, наконец, в нетерпении распахнулись и теперь таращились расширенные, испуганные, недоверчивые. Новые вывески были картонными полосками с яркими неровными буквами. Старые вывески были мраморными некрологами людям, исчезнувшим давным-давно. Золотые буквы напоминали о забытых именах на витринах новых владельцев, а пулевые отверстия и трещины все еще украшали стекло. Были магазины без вывесок и вывески без магазинов. Но между витринами и над закрытыми дверями, над кирпичами, досками и треснувшей

шпугатуркой, город принарядился в мантию из ярких красок, похожую на лоскутное одеяло: тут и там висели плакаты с красными рубахами, и желтой пшеницей, и багровыми знаменами, и синими колесами, и красными платками, и серыми тракторами, и рыжими трубами; они вымокли, стали полупрозрачными под дождем, под ними проступили слои старых плакатов. Никому не подконтрольные, никем несдерживаемые, эти плакаты размножились словно яркая городская плесень.

На углу старушка скромно держала в руках поднос с домашними пирожками, но ноги спешно проходили мимо, не останавливаясь; кто-то выкрикивал: «Правда»!.. «Красная газета»! «Последние новости, граждане!», а кто-то выкрикивал: «Сахарин, граждане!», а кто-то выкрикивал: «Кремни для зажигалок, дешево, граждане!» Внизу была лишь грязь да шелуха семечек; наверху, склоняясь над улицей из каждого дома, реяли размытые, когда-то красные знамена, истекавшие мелкими розовыми каплями.

— Я надеюсь, — сказала Галина Петровна, — что сестра Маруся будет рада видеть нас.

— Я сгораю от любопытства, — сказала Лидия, — интересно, как Дунаевы пережили эти годы?

— А мне не терпится взглянуть, что осталось от их состояния, если, конечно, хоть что-нибудь осталось. Бедная Маруся. Я сомневаюсь, что у них сохранилось больше, чем у нас.

— Даже если и сохранилось, — вздохнул Александр Дмитриевич, — какое это имеет значение сейчас, Галина?

— Никакого, — произнесла Галина Петровна, — но я надеюсь.

— Как бы то ни было, мы пока еще не бедные родственники, — гордо сказала Лидия и немного вздернула юбку, чтобы продемонстрировать прохожему свои оливково-зеленые высокие сапожки на шнуровке.

Кира не слушала их, она рассматривала улицы. Извозчик остановился у здания, где четыре года назад они в последний раз виделись с Дунаевыми в их великолепной квартире. В одной половине внушительной входной двери сохранилось огромное квадратное зеркальное стекло; вторая половина была наспех забита некрашеными досками.

Раньше, как припоминала Галина Петровна, в просторном вестибюле лежал мягкий ковер, и горел камин ручной работы. Ковер исчез; камин все еще стоял, но на белых животах его мраморных купидонов были нацарапаны надписи, по зеркалу над камином расплзлась длинная, из угла в угол, трещина.

Заспанный дворник высунул голову из своей каморки под лестницей и с безразличием убрал ее обратно. Втащив узлы по лестнице, они остановились у двери Дунаевых; черная клеенка была содрана, и серые клочки грязной ваты окаймляли дверь.

— Хотела бы я знать, — прошептала Лидия, — остался ли у них до сих пор их величественный дворецкий.

Галина Петровна нажала на звонок.

Внутри послышались шаркающие шаги. Повернулся ключ. Рука осторожно приоткрыла дверь, защищенную цепочкой. Через узкую щель они увидели лицо старухи, закрытое свисающими космами, живот под грязным полотенцем, повязанным как передник, и одну ногу в мужском тапке. Старуха глядела на них, враждебно изучая, не проявляя намерения открыть дверь шире.

— Здесь ли Мария Петровна? — спросила Галина Петровна слегка неестественным голосом.

— А что надо? — прошамкал беззубый рот.

— Я ее сестра, Галина Петровна Аргунова.

Старуха не ответила, она повернулась и прокричала в комнату:

— Мария Петровна, здесь толпа, которая говорит, что они ваша сестра!

В ответ из глубины дома раздался кашель, послышались медленные шаги, затем бледное лицо выглянуло из-за плеча старухи и рот раскрылся в беззвучном крике:

— Господи, Боже мой!

Дверь распахнулась настежь. Две тонкие руки обняли Галину Петровну, прижимая ее к трясущейся груди.

— Галина! Дорогая! Ты ли это?

— Маруся! — губы Галины Петровны утонули в пудре, безуспешно скрывавшей отвисший подбородок, а нос — в тонких, сухих волосах, надушенных духами, пахнущими ванилью.

Мария Петровна всегда была красой семьи, нежная и избалованная драгоценность, которую муж зимой носил на руках по снегу до самой кареты. Сейчас она выглядела старше Галины Петровны. Ее кожа была цвета грязного белья, ее губы были недостаточно красными, зато слишком красными были белки ее глаз.

Дверь за ней распахнулась, и что-то ворвалось в прихожую, что-то высокое, стройное, с гривой волос и глазами, как автомобильные фары: Галина Петровна узнала Ирину, свою племянницу, девушку с двадцативосьмилетними глазами и смехом восьмилетней девочки. За ней Ася, ее младшая сестра, медленно прокралась и встала в дверном проходе, угрюмо разглядывая приезжих; ей было восемь лет, ее давно не подстригали, а в волосах не хватало ленты.

Галина Петровна поцеловала девочек; затем она поднялась на цыпочки и поцеловала в подбородок своего шурина, Василия Ивановича. Она старалась не смотреть на него. Его густые волосы поседели; высокая, властная фигура сгорбилась. Даже увидев скрюченный шпиль Адмиралтейства, Галина Петровна не почувствовала бы такой горечи. Василий Иванович сказал:

— Неужели это мой дружок Кира?

Вопрос был теплее, чем поцелуй.

Его впавшие глаза выглядели как камин, в котором последние искрящиеся угольки безнадежно борются с мертвой сажой. Он добавил:

— Извините, Виктора нет дома, он в институте. Мальчик так много работает.

Имя его сына подействовало словно сильное дыхание, которое на мгновение оживило угольки.

Перед революцией Василий Иванович Дунаев был процветающим меховщиком. Он начинал охотником в дикой сибирской глуши, имея лишь ружье, пару валенок и руки, которые могли поднять быка. От медвежьих зубов у него остался шрам на бедре. Однажды его нашли погребенным под снегом; он пролежал там несколько дней; но руки его сжимали такого великолепного песка, какого нашедшие его напуганные сибирские крестьяне в жизни не видели. Его родственники ничего не слышали о нем в течение десяти лет. Когда он вернулся в Санкт-Петербург, он открыл магазин, даже дверные ручки которого были бы не по карману его родственникам, и купил серебряные подковы для своей тройки, которая гарцевала с каретой по Невскому.

Его руками добывались горностаи, края шлейфов из которых скользили по мраморным лестницам в царских дворцах; соболя, укутывавшие многие плечи, белые, как мрамор. Каждый волосок на шкурках, прошедших через его руки, был оплачен силой его мышц и бесконечными часами морозных сибирских ночей.

В шестьдесят лет его позвоночник был так же прям, как его ружье; его дух — так же прям, как его позвоночник.

Когда Галина Петровна поднесла к губам дымящуюся ложку пшенной каши в столовой своей сестры, она украдкой взглянула на Василия Ивановича. Она боялась всмотреться в него

открыто, но вновь замечала сгорбленную спину и думала, что-то стало с его духом.

Она заметила перемены в гостинной. Ложечка в ее руках была не из столового серебра с монограммой, которую она хорошо помнила; она была из тяжелой жести, придававшей каше металлический привкус. Она помнила хрустальные и серебряные вазы для фруктов на буфете; сейчас его украшал одинокий глиняный кувшин.

Безобразные ржавые гвозди на стенах обозначали те места, где раньше висели старинные картины.

Напротив за столом Мария Петровна тараторила с нервной, прерывистой спешкой — странная карикатура на те капризные манеры, которые до революции заволаживали любую гостиную, в которую она входила. Она произносила незнакомые Галине Петровне слова. Эти слова были словно вехи всех лет разлуки и символ того, что случилось за эти годы.

— Продовольственные карточки — они только для совслужащих. И для студентов. Мы получаем только две продовольственные карточки. Лишь две карточки на семью — это очень нелегко. Студенческие карточки Виктора в институте и Ирины в Академии художеств. Но я нигде не служу, поэтому и не получаю карточку, а Василий...

Она прервалась на секунду, словно ее слова забежали слишком далеко, украдкой посмотрела на мужа — взгляд был полон раблепия. Василий Иванович уставился в тарелку и ничего не сказал.

Мария Петровна красноречиво взмахнула руками:

— Сейчас тяжелые времена, Господи помилуй, какие тяжелые времена. Галина, ты помнишь Лилию Савинскую, ту, что никогда не носила никаких украшений, кроме жемчуга? Так вот, она умерла. Умерла в девятнадцатом. Вот как это случилось: у них несколько дней было нечего есть, ее муж бродил по улицам и увидел труп лошади, павшей от голода, там уже дралась толпа. Они рвали труп на части. Он выхватил немного. Принес кусок домой, они приготовили его и съели; я думаю, что лошадь умерла не только от голода, потому что они оба ужасно заболели. Врачи спасли его, но Лилия умерла. Конечно, он все потерял в восемнадцатом... Его сахарный завод — он был национализирован в тот же день, что и наш магазин мехов...

Она снова остановилась на мгновение, глядя на Василия Ивановича из-под дрожащих век, но он не произнес ни слова.

— Еще, — угрюмо сказала маленькая Ася и протянула тарелку за добавкой.

— Кира! — звонко позвала Ирина через стол голосом таким чистым и звонким, словно смахивала прочь все, что было сказано. — Ты ела свежие фрукты в Крыму?

— Да, немного, — безразлично ответила Кира.

— Я мечтала, тосковала и умирала, вспоминая виноград. Ты любишь виноград?

— Я никогда не замечаю, что я ем, — сказала Кира.

— Конечно, — заторопилась Мария Петровна, — муж Лилии Савинской сейчас работает. Он служащий в советском учреждении. Некоторые устраиваются на работу, несмотря ни на что...

Она многозначительно посмотрела на Василия Ивановича, но он не ответил.

Галина Петровна робко спросила:

— А как, как... наш старый дом?

— Ваш? На Каменноостровском? Даже не мечтайте о нем. Там теперь живет художник-оформитель. Настоящий пролетарий. Бог знает, где вы найдете квартиру, Галина. Теперь людей везде как собак нерезаных.

Александр Дмитриевич робко спросил:

— Вы не слышали о том, что... о фабрике... что случилось с моей фабрикой?

— Закрыта, — внезапно рявкнул Василий Иванович, — они не смогли запустить ее.

Закрыта. Как и все остальное.

Мария Петровна залилась кашлем.

— Такая проблема для вас, Галина, такая проблема! Девочки ходят в школу? А как вы собираетесь получить продовольственные карточки?

— Но, я думала, нэп и все такое... сейчас у вас есть частные магазины.

— Конечно, нэп, новая экономическая политика, конечно, сейчас разрешили частные магазины, но где взять денег, чтобы покупать в них? Там заламывают в десять раз больше, чем в продовольственных кооперативах. Я еще ни разу не была в частном магазине. Нам это не по средствам. Это никому не по средствам. Мы не можем позволить себе даже сходить в театр. Лишь раз Виктор взял меня на постановку. Но Василий — ноги Василия не будет в театре.

— Почему же?

Василий Иванович поднял голову, его взгляд был суров, когда он торжественно произнес:

— Когда родная страна в агонии, развлекаться — непозволительная беспечность. Я в трауре — по моей стране.

— Лидия, — спросила Ирина своим бодрым голосом, — ты еще не влюблена?

— Я не отвечаю на неприличные вопросы, — ответила Лидия.

— Я скажу вам, Галина, — снова зашпешила Мария Петровна и вдруг захлебнулась кашлем, но несколько мгновений спустя продолжила: — Я скажу вам, что вы должны сделать — Александр должен устроиться на работу.

Галина Петровна выпрямилась, словно ее ударили по лицу:

— На советскую работу?

— Видишь ли... любая работа — работа на Советы.

— Пока я жив — никогда, — с неожиданной силой произнес Александр Дмитриевич.

Василий Иванович уронил ложку — она звякнула о тарелку; безмолвно и торжественно он протянул над столом свою громадную ладонь и пожал руку Александру Дмитриевичу, бросив мутный взгляд на Марию Петровну. Она засуетилась, проглотила ложечку пшенки и закашляла опять.

— Про тебя, Василий, я ничего не говорю, — тихо возразила она. — Я знаю, ты не одобряешь и... м-м, никогда не одобришь... Но я всего лишь думала о том, что в этом случае они получают хлебные карточки, сало и сахар. Советские служащие получают это — время от времени.

— Прежде ты станешь вдовой, Мария, — сказал Василий Иванович, — чем меня заставят пойти работать на Советскую власть.

— Я ничего такого не говорю, Василий, только...

— Только прекрати нервничать. Проживем как-нибудь. Еще не известно, что будет впереди. У нас еще есть что продать.

Галина Петровна посмотрела на гвозди в стенах, затем на руки своей сестры, знаменитые руки, которые рисовали художники и о которых было написано стихотворение «Шампанское и руки Марии». Они замерзли до темно-фиолетового цвета, распухли и потрескались. Мария Петровна с детства понимала ценность своих рук: она научилась держать их в красоте постоянно, пользоваться ими с гибкой грацией балерины. Это искусство она не утратила. Галине Петровне было бы легче, если бы и эта привычка исчезла у нее — плавные, порхающие жесты этих рук были единственным напоминанием о прошлом. Василий Иванович внезапно разговорился. Он всегда обуздывал проявления чувств, но одна тема так задевала его, что он не мог не выговориться:

— Все это временно. Вы так легко потеряли веру. Это главная беда нашей бесхребетной, хныкающей, бессильной, болтливой, благодушной, слюнявой интеллигенции. Поэтому мы

сейчас там, где мы есть. Нет веры. Нет желания. Интеллигенция! Вместо крови — какая-то размазня. Вы думаете, это все может продолжаться дальше? Думаете, Россия мертва? Думаете, Европа слепа? Взгляните на Европу. Она еще не сказала свое последнее слово. Придет день — скоро, — когда эти кровавые палачи, эти грязные негодяи, эти коммунистические отбросы...

Зазвенел дверной колокольчик.

Старая служанка, шаркая, пошла открыть дверь. Они услышали мужские шаги, проворные, звонкие, энергичные. Сильная рука распахнула дверь в столовую.

Виктор Дунаев выглядел как тенор в Итальянской Королевской опере, что вовсе не было профессией Виктора. У него были широкие плечи, горящие карие глаза, густые непослушные черные волосы, сверкающая улыбка, надменно-уверенные движения. Остановившись на пороге, он сразу взглянул на Киру; она повернулась на стуле, и он перевел взгляд на ее ноги.

— Да это же крошка Кира! — были первые звуки его сильного, чистого голоса.

— Была когда-то, — ответила Кира.

— Да, да, какой сюрприз. Какой очень приятный сюрприз!.. Тетя Галина моложе, чем всегда! — Он поцеловал руку тете. — И моя обворожительная кухня Лидия!

Его черные волосы коснулись ее запястья.

— Извините за опоздание. Собрание в институте. Я член Совета студентов. Извини, отец. Отец не одобряет какие бы то ни было выборы.

— Иногда даже и на выборах не ошибаются, — сказал Василий Иванович, не скрывая отеческой гордости в голосе, и теплота в его глазах внезапно придала им беспомощное выражение.

Виктор развернул стул и сел рядом с Кирой.

— Ну, дядя Александр, — он сверкнул белоснежно-блестящей цепью зубов на Александра Дмитриевича, — вы выбрали удивительное время для возвращения в Петербург. Жестокое время, не без этого. Трудное время. Но самое восхитительное время, как и все катаклизмы истории.

Галина Петровна улыбнулась с восхищением:

— А где ты учишься, Виктор?

— В Технологическом институте. На инженера-электрика. У электричества великое будущее. Будущее России... Но отец так не думает... Ирина, ты когда-нибудь причесываешься? Какие у Вас планы, дядя Александр?

— Я открою магазин, — торжественно, почти гордо провозгласил Александр Дмитриевич.

— Но это потребует определенных финансовых затрат, дядя Александр.

— Нам удалось немного накопить на юге.

— Боже мой! — воскликнула Мария Петровна. — Вы бы лучше потратили их как можно скорее. Новые бумажные деньги обесцениваются так быстро, — вот, например, на прошлой неделе хлеб стоил шестьдесят тысяч за фунт, а сегодня уже семьдесят пять.

— У новых предприятий, дядя Александр, большое будущее в наше новое время, — сказал Виктор.

— До тех пор, пока правительство снова не раздавит их каблуком, — уныло произнес Василий Иванович.

— Нечего бояться, отец. Дни конфискации прошли. У Советской власти очень прогрессивные политические планы.

— Начертанные кровью, — сказал Василий Иванович.

— Виктор, на юге носят такие смешные вещи, — торопливо заговорила Ирина, — ты заметил деревянные сандалии Киры?

— Все в порядке. Лига Наций. Так мы зовем Ирину. Она старается поддерживать мир. О, да, я бы очень хотел увидеть ее сандалии.

Кира безразлично подняла ногу. Ее короткая юбка лишь самую малость прикрывала ноги. Она этого не замечала, но заметили Виктор и Лидия.

— В твоём возрасте, Кира, — резко заметила Лидия, — пора носить юбки длиннее.

— Если бы ещё был материал, — безразлично произнесла Кира. — Я никогда не обращаю внимания на то, что я ношу.

— Лидия, дорогая, какая чепуха, — подвел итог Виктор, — короткие юбки — это апогей женского изящества, а женская элегантность — высочайшее из искусств.

* * *

Этой ночью, перед отходом ко сну, две семьи собрались в гостиной. Мария Петровна с большой неохотой отобрала три полена и развела огонь в камине.

Маленькие язычки пламени замерцали на глянцевом фоне крошечной темноты за большими убогими окнами без занавесок; крохотные огоньки танцевали на полированных изгибах мебели ручной работы, оставляя в тени разорванную парчу; отблески огня переливались в тяжелой золотой раме единственной картины на стене, оставляя в тени саму картину — портрет Марии Петровны двадцатилетней давности: ее изящная ручка покоилась на плече, словно выточенном из слоновой кости; она насмешливо куталась в вязаную шаль, которую живая Мария Петровна конвульсивно стискивала поверх дрожащих плеч, когда начинала кашлять.

Поленья были сырыми; чахлое голубое пламя, замирая, бегало по полену, постреливающему струйками едкого дыма.

Кира сидела у камина на шкуре белого медведя, утопая в густой мягкой шерсти; ее рука нежно обвила огромную, свирепую голову чудища. С детства она обожала так сидеть. Когда она приходила в гости к дяде, она всегда просила рассказать историю о том, как он убил этого медведя, и, счастливая, хохотала, когда он пугал ее, говоря, что медведь сейчас оживет и съест непослушных маленьких девочек.

— Ну, — произнесла Мария Петровна, протягивая руки к теплу огня, — вот вы и в Петрограде.

— Да, — проговорила Галина Петровна, — мы опять здесь.

— О, Пресвятая Богородица! — вздохнула Мария Петровна. — Сейчас иногда так трудно представить себе будущее, ради которого стоило бы жить.

— Трудно, — отозвалась Галина Петровна.

— Ну, ладно, а каковы планы в отношении девочек? Лидия, дорогая, ты совсем уже барышня. Все ещё свободна сердцем?

Улыбка Лидии не была благодарной. Мария Петровна вздохнула:

— Теперь мужчины такие странные. Они не думают о женитьбе. А девушки? В Иренином возрасте я уже нянчила сына. Но она и не мыслит о доме и семье. Академия художеств для нее важнее. Галина, ты помнишь, как она портила мне всю мебель своими проклятыми рисунками, не успев вылезти из пеленок? Ах, Лидия, а ты думаешь учиться?

— У меня нет такого намерения, — ответила Лидия. — Слишком большое образование — это неженственно.

— А Кира?

— Смешно подумать, что крошке Кире уже пора в университет, не правда ли? — сказал Виктор. — Прежде всего, Кира, ты должна будешь получить трудовую книжку — новый паспорт, ну, ты знаешь. Гебе уже за шестнадцать. А затем...

— Профессия так полезна в наше время, — торопливо продолжила Мария Петровна. — Я думаю, почему бы не послать Киру в Медицинский институт? Женщины-врачи получают такие прекрасные пайки!

— Кира — врач? — усмехнулась Галина Петровна. — Ха, маленькая себялюбивая Кира чувствует отвращение к физическим ранам. Она не поможет даже больному цыпленку.

— А по-моему... — начал было Виктор.

В соседней комнате зазвонил телефон.

Ирина выбежала туда и, вернувшись, возвестила:

— Тебя, Виктор. Эта Вава.

Виктор неохотно вышел. Через оставшуюся приоткрытой дверь они слышали обрывки разговора:

— Я знаю, что обещал прийти вечером. Но этот неожиданный экзамен в институте. По вечерам я должен учиться каждую минуту... О, конечно нет, никого, кроме тебя... Ты знаешь, что это правда, дорогая...

Он вернулся к камину и удобно уселся на спине белого медведя рядом с Кирой.

— По-моему, моя обворожительная маленькая кузина, — заговорил он, — многообещающую карьеру женщине предоставляет не институт, а устройство на работу в советском учреждении.

— Виктор, ты что, серьезно? — спросил Василий Иванович.

— В наше время человек должен быть здравомыслящим, — медленно отозвался Виктор. — Студенческий паек не сможет в достаточной мере обеспечить целую семью — вам ли этого не знать?

— Служащие получают сало и сахар, — произнесла Мария Петровна.

— Сейчас нанимают огромное число машинисток, — настаивал Виктор, — умение печатать — это дорожка в любое высокое учреждение.

— И еще они получают обувь и бесплатный проезд в трамвае,

— продолжала Мария Петровна.

— Проклятье! — сказал Василий Иванович, — Никто не может превратить скакуна в тяжеловоза.

— Кира, разве тебе не интересно? — спросила Ирина.

— Интересно, — спокойно ответила Кира, — но я думаю, что обсуждать здесь нечего. Я поступаю в Технологический институт.

— Кира!

Семь пораженных голосов произнесли одно имя. Затем Галина Петровна сказала:

— Вот такие дочери даже собственную мать не посвящают в свои планы!

— Когда ты это решила? — задохнулась от удивления Лидия.

— Лет восемь назад, — ответила Кира.

— Но Кира! Что ты будешь там делать? — открыла рот Мария Петровна.

— Я стану инженером.

— Откровенно говоря, — подал голос Виктор, — я думаю, что инженерия — это профессия не для женщин.

— Кира, — робко сказал Александр Дмитриевич, — тебе же никогда не нравились коммунисты, а теперь ты выбираешь эту модную профессию, которая так нравится им.

— Ты хочешь строить для Красного государства? — спросил Виктор.

— Я хочу строить, потому что хочу строить.

— Но Кира! — широко раскрыв глаза, пораженная Лидия смотрела на нее. — Ведь такая работа — это грязь, железки, ржавчина, газовые горелки, грязные потные мужики и никакого

женского общества, чтобы хоть как-то скрасить жизнь.

— Потому мне она и нравится!

— Это некультурная профессия, совсем не для женщины, — презрительно сказала Галина Петровна.

— Это единственная профессия, — произнесла Кира, — для которой не нужно учиться лгать. Сталь это сталь. Большая же часть наук — это чьи-либо размышления, чьи-то желания и ложь многих людей.

— Чего в тебе нет — так это духовности, — заметила Лидия.

— Честно говоря, — сказал Виктор, — твоя позиция слегка антиобщественна, Кира. Ты выбираешь профессию лишь потому, что ты этого хочешь, не подумав над тем фактом, что, как женщина, ты была бы намного полезнее обществу на более женской работе. Мы все должны считаться с тем, что у нас есть свои обязанности перед обществом.

— Кому конкретно ты обязан, Виктор, и чем?

— Обществу.

— Что такое общество?

— Если позволишь так выразиться, Кира, — это детский вопрос.

— Но, — проговорила Кира; ее глаза были широко раскрыты, а взгляд — устрашающе мягок, — я не понимаю. Кому это я обязана? Вашему соседу за смежной дверью? Или милиционеру на углу? Или служащему в кооперативе? Или старику, которого я видела в очереди, третьим от входа, в женской шляпе, со старой корзинкой?

— Общество, Кира, это огромное целое.

— Если ты напишешь целую вереницу нулей, они так нулями и останутся!

— Дитя, — сказал Василий Иванович, — что ты делаешь в Советской России?

— И сама не пойму!

— Дайте ей поступить в институт, — сказал Василий Иванович.

— Придется, — горько согласилась Галина Петровна. — С ней не поспоришь.

— Она всегда добивается своего, — обиженно сказала Лидия, — не понимаю, как ей это удается.

Кира наклонилась над огнем и подула на затухающее пламя. На мгновение, когда яркий язычок вырвался наружу, красный жар выхватил ее лицо из мрака. Оно было словно лицо кузнеца, склонившегося над горном.

— Я боюсь за твое будущее, Кира, — сказал Виктор, — сейчас самое время примириться с жизнью, такой, какая она есть. С подобными мыслями ты недалеко уйдешь.

— Это, — сказала Кира, — зависит оттого, в какую сторону я хочу идти.

Две руки держали маленькую книжечку в серой обложке. Две высохшие, мозолистые руки, познавшие многие годы труда — в машинном масле, в жару, в смазке грохочущих машин. В морщины на загрубевшей коже въелась черная многолетняя копоть. У потрескавшихся ногтей была черная кайма. Один палец украшало тусклое кольцо с искусственным камнем.

В кабинете были голые стены. Множество грязных рук использовало их в качестве полотенца: они были сплошь покрыты волнистыми следами, оставленными бесчисленными ладонями на выцветшем рисунке. До революции в этом доме, теперь национализированном для государственных учреждений, здесь размещалась ванная комната. Сама ванна была выброшена, но ржавая полоса с зияющими дырами от гвоздей все еще ухмылялась со стены, а две изломанные трубы висели словно выпущенные кишки раненого здания.

В окне торчала чугунная решетка и разбитые стекла, которые паук попытался склеить. Окно выходило на голую стену из красного кирпича, где картинка, когда-то рекламировавшая средство от облысения, теряла последние краски.

Совслуж сидел за массивным столом. На столе затаились полувысохшая чернильница и клякса, размазанная в одном углу. Совслуж был в военной форме и в очках.

Словно два безмолвных судьи, восседающих за спиной своего глашатая, два портрета расположились по бокам от его головы. Они были без рам, прикрепленные к стене четырьмя кнопками. На одном был Ленин, на другом — Карл Маркс. Красные буквы над портретами гласили: «В единстве — наша сила».

С гордо поднятой головой Кира ожидала перед столом.

Она пришла сюда, чтобы получить трудовую книжку. Трудовую книжку должен был иметь каждый гражданин старше шестнадцати лет. Было приказано носить ее с собой постоянно. Ее нужно было предъявлять, и в ней ставилась печать всякий раз, когда владелец ее находил работу или увольнялся, въезжал в квартиру или выезжал из нее. поступал в институт, получал хлебные карточки или женился.

Новый советский паспорт был больше чем паспорт — это было разрешение на жизнь. Он назывался «Трудовой книжкой», так как труд и жизнь считались синонимами.

Российской Советской Федеративной Социалистической Республике предстояло заполнить нового гражданина.

Совслуж держал маленькую книжечку в серой обложке, страницы которой он собирался заполнить. У него что-то не заладилось с пером; оно было старое, ржавое и тщательно выцарапывало капли со дна чернильницы.

На чистой первой странице он начертал:

Имя: Аргунова Кира Александровна.

Рост: Средний.

* * *

Тело Кире было стройным, слишком стройным, и когда она резко, быстро, с геометрической точностью двигалась, людей очаровывали сами ее движения. Всегда, какую бы одежду она ни надевала, даже «скрытое» присутствие ее тела придавало ей вид обнаженной. Люди не понимали, почему у них возникает такое ощущение. Казалось, что даже слова, которые она произносила, рождались из желаний ее тела, а резкие движения бессознательно отражали

танцующую, хохочущую душу. Таким образом, душа ее казалась материальной, а тело — духовным.

* * *

Совслуж продолжал: Глаза: Серые.

* * *

Глаза у Киры были темно-серые, цвета грозовых облаков, из-за которых в любой момент может выглянуть солнце. Они всматривались в людей тихо, прямо, с выражением, которое называют высокомерным. На деле это было лишь глубоким, уверенным спокойствием, которое, казалось, говорило людям, что взгляд ее слишком пронизателен и, чтобы разглядеть жизнь, ей никогда не понадобятся столь обожаемые ими очки.

* * *

Рот: Обычный.

* * *

Рот у Киры был тонкий, широкий. В молчании он был холоден, неукротим, и людям вспоминалась Валькирия в гуще сражения, в крылатом шлеме, с пикой. Но неуправимое движение рождало морщинку в углах ее губ — и тут же вспоминался чертенок, усевшийся на шляпке мухомора и хохочущий в лица маргариток.

* * *

Волосы: Каштановые.

* * *

Волосы у Киры были короткими, отброшенными назад со лба; светлые солнечные лучи терялись в их спутавшейся массе. То были волосы первобытной женщины джунглей, лицо же ее словно сбегало с мольберта современного художника, который очень торопился: лицо из прямых острых линий, набросанное неистово, в попытке уловить и запечатлеть звучащее в нем обещание.

* * *

Особые приметы: Нет.

Совслуж подцепил кончиком пера пылинку, растер ее в пальцах и вытер их о штаны.

* * *

Место и дата рождения: Петроград, 11 апреля, 1904 год.

* * *

Родилась Кира в сером гранитном доме на Каменноостровском.

В просторном особняке у Галины Петровны были и будуар, где вечерами служанка в черном зацелкивала застежки ее бриллиантовых коле, и приемная, где ее юбки из тафты торжественно шелестели, когда она принимала дам в соболях и с лорнетами. Дети не допускались в эти комнаты, а Галина Петровна редко появлялась в каких-либо других.

У Киры была английская гувернантка, задумчивая девушка с очаровательной улыбкой. Кира любила свою гувернантку, но чаще предпочитала находиться в одиночестве, и ее оставляли одну. Когда она отказалась играть с калекой-родственником, которого добросердечие семьи превратило во всеобщего любимца, ее никогда больше не просили об этом. Когда она вышвырнула из окна первую же книгу о доброй фее, награждающей бескорыстную маленькую девочку, — гувернантка никогда больше не приносила ей ничего похожего. Когда ее взяли в церковь и в середине службы она одна прокралась наружу, заблудилась на улицах и возвратилась к своей сходящей с ума семье в полицейской машине, ее никогда больше не брали в церковь.

Летняя резиденция Аргуновых стояла на высоком холме, над рекой, одинокая среди своих роскошных садов, на окраине дорогого летнего курорта. Дом стоял спиной к реке, засмотревшись на парк, где холм грациозно сбегал в садик из лужаек, словно вычерченных по линейке, подстриженных кустов, превращенных садовником в арки, и мраморных фонтанов, созданных известным скульптором.

Противоположная сторона холма висела над рекой, глыбища из камня и земли, словно выплюнутая вулканом и застывшая в хаотичном нагромождении.

Спускаясь по течению, люди замирали в ожидании, что вот-вот какое-нибудь чудовище высунет голову из глубины поросших папоротником расщелин, среди деревьев с огромными корнями, что росли параллельно земле, обметав уступы, словно пауки.

Летом, в те бесконечные годы, когда ее родители развлекались в Ницце, в Вене, Кира оставалась одна и проводила дни в дикой свободе скалистого холма, словно его единственная, полновластная императрица, в разорванной голубой юбке и белой блузке, у которой вечно отсутствовали рукава. Острый песок впивался в ее босые ноги. Она перепрыгивала с уступа на уступ, хватаясь за ветки деревьев, подбрасывая свое тело в пространство так, что ее юбка развевалась словно парашют. Она смастерила плот из веток деревьев и, сжимая в руках длинный шест, уплывала вниз по реке. На пути попадалось много опасных скал и водоворотов. Трепет борьбы поднимался от ее босых ступней, которые ощущали беснующийся поток под хрупким плотом, и разливался по всему напряженному телу, готовому встретить новый порыв ветра; голубая юбка колотила по ее ногам словно парус. Ветки, нависшие над рекой, хлестали ее по лицу. Она проносилась мимо, оставляя в них клочья волос, обвивших листья, а деревья теряли дикие красные ягоды, застрявшие в ее волосах.

Первое, что Кира осознала в жизни, и первое, что испуганные родители заметили в ней,

была радость одиночества.

* * *

— Родилась в 1904-м, да? — спросил совслуж. — То есть тебе... Ну-ка, посмотрим... восемнадцать. Восемнадцать. Тебе повезло, товарищ. Ты молода и можешь посвятить много лет трудовой жизни. Целая жизнь, полная дисциплины и самоотверженного труда, труда на благо огромного коллектива!

У него был насморк, поэтому он достал огромный клетчатый носовой платок и затрубил носом.

* * *

Семейное положение: Не замужем.

* * *

— Я умываю руки насчет будущего Киры, — как-то сказала Галина Петровна. — Иногда я думаю, что она урожденная старая дева, а иногда, что урожденная... да, нехорошая женщина.

Кира начала носить удлиненные юбки и высокие каблуки во время их бегства в Ялту, где странное общество эмигрантов с севера, представители древних фамилий и обладатели канувших в Лету состояний, жались друг к другу, словно напуганные цыплята на холмике, когда наводнение медленно заглатывает все вокруг них. Юноши с безупречным пробором и наманикюренными ногтями с интересом посматривали на стройную девушку, которая размашисто шагала по улицам, помахивая веточкой, словно кнутом; на ее тело, брошенное против ветра, который раздувал ничего не прикрывающее платьице. Галина Петровна с одобрением улыбалась, когда юноши стучались в их дверь. Но у Киры были необычные брови: она могла вскинуть их в такой холодной, издевательской насмешке, в то время как губы оставались бесстрастными, что любовные стихотворения и намерения юношей замерзали у самых твоих истоков. И Галина Петровна вскоре перестала удивляться тому, что молодые люди прекратили замечать ее девочку.

Вечерами Лидия, краснея, жадно читала душещипательные, полные греха романы, которые прятала от Галины Петровны. Кира попробовала читать один из них, но заснула, не закончив его. И уже никогда не взялась за другой.

Она не видела разницы между сорняками и цветами; она зевала, когда Лидия вздыхала над красотой солнечного заката над одинокими холмами. Но она простаивала часами, глядя на черный силуэт высокого молодого солдата на фоне рычащего пламени пылающей нефтяной скважины, которую он охранял.

Она внезапно останавливалась, когда они шли вечером вниз по улице, указывала па необычный угол белой стены над покосившимися крышами, который светился в черной мгле под тусклым светом старого фонаря, с темным, зарешеченным, как у темницы, стеклом, и шептала:

— Как красиво!

— Что в этом красивого? — недоумевала Лидия.

— Она такая таинственная... манящая... словно там что-то могло бы случиться.

— Случиться с кем?

— Со мной.

Лидия редко интересовалась переживаниями сестры, тем более что они не имели отношения к ней самой, а были просто личными чувствами Киры. Сами родители тоже беспомощно пожимали плечами над тем, что они называли «душой» дочери. У Киры было одно и то же чувство и для несоленого супа за обедом, и для улитки, ползущей по ее голой ноге, и для умоляющих юношей с разбитыми сердцами, мягкими губами и влажными глазами, и для белых статуй древних богов на фоне черного музейного бархата, и для стальных стружек, и для ржавой пыли, и для шипящих паяльных ламп в железном грохоте возводящегося здания. Она редко посещала музеи. Но когда она выходила в город с родителями, то семья старалась обходить стороной какие бы то ни было строящиеся дома и, особенно, дороги и мосты. Она обязательно останавливалась и стояла часами, рассматривая красные кирпичи, дубовые сваи и стальные панели, вырастающие по воле человека. Но было невозможно заставить ее прогуляться в воскресный день в общественном парке, и она затыкала пальцами уши, когда слышала хор, поющий народные песни. Когда Галина Петровна взяла своих детей на один печальный спектакль, где показывалась тяжкая участь крепостных, которым царь Александр II даровал свободу, Лидия всхлипывала по поводу бедственного положения покорных, добрых крестьян, в испуге склонившихся перед хлыстом, в то время как Кира сидела неподвижно-прямо, следя потемневшими от восторга глазами за кнутом, щелкавшим в руке высокого молодого помещика.

— Как красиво! — говорила Лидия, глядя на декорации. — Почти как в жизни!

— Как красиво! — говорила Кира, глядя на окружающий пейзаж. — Совсем как на картинке!

* * *

— Таким образом, — продолжал совслуж, — у вас, товарищи женщины, есть преимущество над мужчинами. Вы можете позаботиться о молодом поколении — будущем нашей республики. У нас так много грязных, голодных ребятишек, которым нужны любящие руки наших женщин.

* * *

Членство в профсоюзе: Не состоит.

* * *

Кира ходила в Ялте в школу. В школьной столовой стояло множество столов. В обед девочки садились за них парами, по четверкам, по дюжинам. Кира всегда садилась за стол в углу — одна. Однажды ее класс объявил бойкот маленькой веснушчатой девочке, которая навлекла на себя гнев всеми любимой одноклассницы — громкоголосой юной особы, у которой всегда были наготове улыбка, рукопожатие или окрик для любой из подруг.

В тот день за обедом маленький столик в углу столовой был занят двумя ученицами: Кирой и веснушчатой девочкой. Они уже наполовину опустошили свои миски с гречневой кашей, когда негодующая староста класса подошла к ним.

— Ты понимаешь, что ты делаешь, Аргунова? — спросила она, сверкая глазами.

— Ем кашу, — ответила Кира, — хочешь, садись с нами.

— Ты знаешь, что сделала эта девочка?

— Не имею ни малейшего понятия.

— Нет? Тогда почему ты за нее?

— Ты ошибаешься. Я не за нее, я против двадцати восьми остальных.

— То есть, по-твоему, очень умно идти против большинства?

— По-моему, когда вопрос спорный и есть сомнение в правоте любой из сторон, правильнее встать на сторону слабейшего из противников... Пожалуйста, передай мне соль.

В тринадцать лет Лидия влюбилась в одного оперного тенора. Она хранила его фото в кухонном шкафу, рядом с одинокой красной розой в тонком хрустальном стакане. В пятнадцать она влюбилась в Святого Франциска Ассиского, который разговаривал с птицами и помогал бедным; и она мечтала уйти в женский монастырь. Кира никогда не влюблялась. Единственным героем для нее был викинг, историю которого она прочла еще ребенком. Викинг, чьи глаза никогда не заглядывали дальше острия его меча, но меч которого не знал преград. Викинг, который шел по жизни, разбивая барьеры и пожиная победы; и когда солнце высвечивало корону над его головой, он, светлый и прямой, шагал среди руин, не замечая ее веса. Викинг, который хохотал над королями, который смеялся над священниками, который смотрел на небеса, только когда наклонялся напиться из горного ручья, и там, в отражении воды, видел в небе собственное изображение. Викинг, который жил для радости, восхищения и славы того господя, которым был он сам. Кира не запомнила книги, прочитанные до этой легенды, и не хотела помнить прочитанные после нее. Но сквозь годы она несла в своей памяти конец легенды, когда викинг стоял на башне над покоренным городом. Викинг улыбался, как улыбается человек, глядя на небеса, но он смотрел вниз. Его правая рука казалась одной сплошной линией с опущенным мечом, его левая рука, такая же прямая как его меч, взметнула к небу кубок с вином. Первые лучи восходящего солнца, все еще невидимого за горизонтом, позолотили хрустальный кубок. Он сверкал, словно зажженный факел. Его лучи освещали лица всех, кто стоял внизу.

— За жизнь, — сказал викинг, — которая ценна сама по себе.

* * *

— Итак, ты не член Профсоюза, гражданка? — сказал совслуж. — Очень плохо, очень плохо. Профсоюзы — это стальные балки величественного здания нашего государства, так сказал... в общем, один из наших великих вождей сказал. Что есть гражданин? Лишь кирпичик, бесполезный сам по себе, пока он намертво не скреплен раствором с другими кирпичами, такими же, как и он сам.

* * *

Род занятий: Студентка.

* * *

Откуда-то из аристократических средних веков Кира унаследовала убеждение, что труд и усилия низки. Она проучилась в школе с прекрасными отметками и с самыми неряшливыми тетрадками для сочинений. Она сожгла все свои музыкальные этюды и никогда не штопала себе чулок. Она карабкалась на пьедесталы статуй в парках, чтобы поцеловать холодные губы греческих богов, — но засыпала на симфонических концертах. Она вылезала через окно, когда ожидали гостей, и не умела приготовить даже картошку. Она никогда не ходила в церковь и редко читала газеты.

Но позднее она выбрала тяжелейшее и ответственнейшее занятие. Она решила стать инженером. Она решила это, впервые задумавшись о той неопределенной вещи, которую называют будущим. И эта первая мысль была тихой и благоговейной, так как для нее будущее было светлым — ведь это ее будущее. В детстве она играла с механическими игрушками, не предназначенными для девочек, она строила корабли, мосты и башни, она наблюдала за сооружением стальных конструкций, кирпичной кладкой, паровыми котлами. Над кроватью Лидии висела икона, над Кириной — изображение американского небоскреба. Даже несмотря на то, что слушавшие ее недоверчиво улыбались, она говорила о том, как построит дома из стали и стекла, а из белого алюминия — мост через голубую реку. «Но, Кира, нельзя построить мост из алюминия». Она говорила о мужчинах, колесах и кранах, которыми будет повелевать, о восходе солнца над стальным скелетом небоскреба.

Она знала, что у нее есть жизнь и что это ее жизнь. Она знала работу, которую она выбрала для себя и которую так хотела получить от жизни. Остального, что ждет ее впереди, Кира не знала, поскольку у него не было имени, но это было обещано ей, твердо обещано в памяти ее детства.

Когда летнее солнце погружалось за холмы, Кира усаживалась на высоком уступе и смотрела вниз по реке — на роскошное казино. Высокий шпиль музыкального павильона пронзал красное небо. Стройные черные тени женщин двигались на фоне оранжевых панелей и освещенных разноцветных стеклянных дверей. Внутри помещения звучал оркестр. Он рассыпался веселыми, искрящимися мотивами из музыкальных комедий. Павильон разбрасывал лучи из электрических огней, из звякающих бокалов, из сверкающих лимузинов, из ночей европейских столиц — в темное вечернее небо над безмолвной рекой и скалистым холмом с древними деревьями.

Беззаботные мелодии казино и пивных, напеваемые по всей Европе девушками с блестящими глазами и раскачивающимися бедрами, имели для Киры такое значение, которого им никто другой не придавал. Она слышала в них необыкновенную радость жизни, такую необыкновенную, что она могла быть легкой, как ножка танцовщицы.

И потому что она обожала эту радость, она редко смеялась в своем кругу и не ходила смотреть комедии в театрах. Она чувствовала в глубине души протест против всего тяжеловесного, трагичного, торжественного. Но у Киры было почтительное благоговение перед теми песенками, полными вызывающего веселья. Они пришли из неведомого мира, где взрослые двигались среди разноцветных огней, белых столов, где было так много всего, непонятного ей, так много всего, что ожидало ее. Они пришли из ее будущего.

Она выбрала из них одну как свою личную песню — песню Киры: «Песню разбитого бокала» из старенькой оперетты. Впервые ее исполняла знаменитая венская красавица. Балюстрада на сцене стояла на фоне падающего занавеса с мерцающими огнями большого города. Гирлянда хрустальных кубков выстроилась на этой балюстраде. Красавица исполняла номер и один за другим, беззаботно, едва касаясь их туфелькой, разбивала хрустальные кубки, превращая их в разлетающийся трепет блестящих осколков вокруг плотных тонких чулок на самых прекрасных ножках в Европе.

В музыке были и резкие небольшие взрывы, и волны быстрых чистых нот, которые, вздымаясь, катились с чистым и нежным звоном разбитого хрусталя, и медленные звуки, такие медленные, словно струны скрипок трепетали в нерешительности от напряжения полнотой звука, совершая несколько осторожных шажков перед скачком в раскаты смеха.

Ветер растрепал волосы Киры так, что они хлестали ее по глазам, и вылизал холодным дыханием пальцы ее босых ног, свесившихся с края уступа. Казалось, в сумерках небо медленно набирало высоту, становясь темнее, и первая звезда падала в реку. Одинокая маленькая девочка на скользкой скале слушала свой собственный гимн и улыбалась тому, что он ей обещал.

Таким было посвящение Киры в жизнь. Некоторые начинают ее под серыми сводами собора со склоненной в благоговении головой, с отблеском жертвенных свечей в сердцах и глазах. Некоторые начинают ее с сердцем, подобным мостовой, истоптанной множеством ног, промерзшие до костей, моля о тепле, которое можно обрести в стаде. Кира Аргунова начала ее с мечом викинга, указывающим путь, и с мелодией из оперетты в качестве боевого марша.

* * *

Совслуж с досадой вытер перо своим клетчатый носовым платком, так как он посадил кляксу на последней странице.

— Труд, товарищ, — сказал он, — это высочайшая цель нашей жизни. Кто не работает, тот не ест.

Книжка была заполнена. Совслуж приложил резиновую печать к последней странице. На странице остался глобус с наложенными на него серпом и молотом.

— Вот это твоя Трудовая книжка, товарищ Аргунова, — сказал совслуж. — С этого момента ты являешься членом самой огромной республики из всех, когда-либо провозглашавшихся в истории человечества. Пусть единство рабочих и крестьян всегда будет смыслом твоей жизни, так же, как это есть смысл жизни всех Красных Граждан.

Он протянул ей книжку.

На первой странице сверху был напечатан лозунг:

«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»

Под ним было написано имя:

Кира Аргунова.

На руках у Киры, в тех местах, куда особенно долго впивался острый шпагат, вздулись волдыри. Это было нелегко — тащить тюки вверх на четвертый этаж восемь пролетов каменной лестницы, которая воняла кошками, и чувствовать холод камня через тонкие подошвы туфель. Каждый раз, когда она спешила вниз за новой поклажей, резво перепрыгивая через ступеньки или съезжая по перилам, она встречала тяжело дышащую и горько вздыхающую Аидию. Та медленно карабкалась вверх, прижимая узлы к груди; пар шел из ее рта с каждым словом:

— Господи Боже!.. Пресвятая Богородица!

Аргуновы нашли квартиру.

Их поздравляли так, словно свершилось чудо. Реальность чуда была скреплена рукопожатием между Александром Дмитриевичем и управдомом — управляющим этим домом. После этого рукопожатия рука Александра Дмитриевича осталась пустой, в отличие от руки управдома. Три комнаты и кухня в переполненном городе стоили небольшой «благодарности».

— Ванна? — Управдом с негодованием повторил робкий вопрос Галины Петровны. — Не глупите, гражданка, не глупите.

Им была нужна мебель. Собравшись с духом, Галина Петровна нанесла визит в серый гранитный особняк на Каменноостровском. Она несколько мгновений постояла перед величественным зданием, поднимавшимся к небу, поплотнее кутая худое тело в выцветшее пальтишко с облезлым меховым воротником. Затем она открыла сумочку и припудрила нос: она чувствовала стыд перед гранитными плитами. Она достала носовой платок из открытой сумочки: слезы причиняли боль на холодном ветру. Затем она позвонила в колокольчик.

— Значит, ты и есть гражданка Аргунова? — произнес толстый, с лоснящимся подбородком художник-оформитель и, позволив ей войти внутрь, участливо выслушал ее объяснения.

— Конечно, можете забрать свой хлам назад. То есть все, что мне не нужно. Оно свалено в каретном сарае. Забирайте. Не такие уж мы бессердечные. Мы знаем, какая у вас тяжелая жизнь, граждане буржуи.

Галина Петровна бросила грустный взгляд на свое старое венецианское зеркало, на ониксовой подставке которого теперь стояло ведро с краской, и, ничего не сказав, пошла вниз, в каретный сарай на заднем дворе. Она отыскала несколько кресел без ножек, несколько бесценных предметов из старинного фарфора, умывальник, ржавый самовар, две кровати, сундук, набитый старой одеждой, и рояль Лидии; все это было завалено кучей книг из их библиотеки, старыми коробками, древесными стружками и крысиным пометом.

Они наняли подводу, чтобы перевезти эти пожитки в маленькую квартирку на четвертом этаже старого кирпичного дома, грязные окна которого смотрели на мутный поток Мойки. Но второй раз взять подводу семья не могла. Они одолжили тачку, и Александр Дмитриевич, молчаливо-безразличный, перевозил в их новый дом узлы, оставленные у Дунаевых. Вчетвером они таскали узлы вверх по ступеням, проходя по лестничным площадкам, где закопченные двери чередовались с разбитыми окнами; раньше такие лестницы назывались «черными», ими пользовалась прислуга. Парадный вход в их новом доме отсутствовал. В нем не было электричества, водопровод был безнадежно испорчен: они должны были носить воду в ведрах с нижнего этажа. Желтые полосы, свидетельство прошедших дождей, расплзлись по потолкам.

— Здесь будет весьма уютно, нужно лишь немного уборки и художественного вкуса, — сказала Галина Петровна.

Александр Дмитриевич вздохнул.

Рояль разместили в столовой. На крышку рояля Галина Петровна поставила чайник без

ручки и без носика — единственное, что осталось из ее бесценного чайного сервиза от Сакса. На полках из некрашенных деревянных дощечек, которые Лидия разукрасила гирляндами бумажных кружев, расставили разнокалиберные тарелки с трещинами. Под короткую ножку хромового стола подложили многократно сложенную газету. В длинные мрачные вечера фитилек, плавающий в блюде льняного масла, отбрасывал пятно света на потолок; утром высоко под потолком вяло покачивались на сквозняке клочья сажи, похожие на паутину.

По утрам Галина Петровна вставала первой. Она набрасывала на плечи старую шаль и изо всех сил дула в камин, чтобы занялись сырые поленья. Затем она варила пшенку на завтрак. После завтрака семья расходилась.

Александр Дмитриевич брел два с половиной километра до своего нового предприятия — магазинчика текстильных товаров. Он никогда не ездил на трамвае, — длинные очереди томились на всех остановках, и надежды пробиться внутрь у него не было.

Магазинчик раньше был булочной. Александр Дмитриевич не мог позволить себе новой вывески. На дверь он нацепил кусок полотна с кривыми буквами, а за стеклом одной из старых черных витрин, прикрыв позолоченный крендель, вывесил два платка и фартук. Соскоблив эмблему булочной со старых коробок, он аккуратно расставил их на пустых полках. Он весь день просиживал, пристроив замерзшие ноги возле чугунной «буржуйки», и дремал, сложив руки на животе.

Когда заходил посетитель, он прошаркивал за прилавок и приветливо улыбался:

— Лучшие платки в городе, гражданин. Совершенно верно, стойкие расцветки, такие же стойкие, как у заграничных товаров... Возьму ли я сало вместо денег? Конечно, гражданин крестьянин, конечно... За полфунта? Вы можете взять два платка, гражданин, и еще три фута ситца.

Счастливо улыбаясь, он клал сало рядом с фунтом ржаной муки в большой выдвижной ящик, который служил кассой.

Аидия после завтрака, горько вздыхая, заматывала вокруг шеи старый вязаный шарф, брала в руки корзину и шла в кооператив. Она стояла в очереди, следя за стрелкой часов на далекой башне, медленно движущейся по циферблату, и убивала время, декламируя в уме французские стихотворения, которые учила в детстве.

— Но мне не нужно мыло, гражданин, — протестовала она, когда подходила ее очередь к некрашеному прилавку внутри вонявшего укропным рассолом и перегаром магазина. — И мне не нужно сушеной воблы.

— Больше сегодня ничего нет, гражданка. Следующий!

— Хорошо, хорошо. Я возьму это, — торопливо говорила Лидия. — Нужно же принести хоть что-нибудь.

Галина Петровна после завтрака мыла тарелки, затем надевала очки и выбирала камешки из двух фунтов чечевицы, безнадежно с ними перемешанной. Со слезами, скатывавшимися по морщинам, она чистила луковицы, стирала рубашки Александра Дмитриевича в тазике с холодной водой, размалывала желуди для кофе.

Если ей нужно было выйти на улицу, она торопливо прокрадывалась вниз по лестнице, надеясь не встретить управдома. Если же встречала его, то слишком ярко улыбалась и нараспев говорила:

— Доброе утро, товарищ управдом!

Товарищ управдом никогда не отвечал. Она могла прочесть молчаливый приговор в его мрачных глазах: «Буржуи. Частники».

Киру приняли в Технологический институт. Насвистывая на ходу, каждое утро она шла туда, засунув руки в карманы старой серой шубы с высоким воротником, застегнутым до подбородка.

В институте она слушала лекции, но сама разговаривала лишь с несколькими людьми. В толпе студентов она заметила много красных платков и услышала восторженные речи о красных строителях, пролетарской культуре и молодых инженерах — авангарде мировой революции. Но она не вникала в эти слова, так как раздумывала над последней математической задачей. Во время лекций время от времени она внезапно улыбалась, просто так, ничему конкретному; улыбалась собственной смутной, неопределенной мысли. Она чувствовала, что ее закончившееся детство было как бы холодным душем — веселым, сильным и бодрящим, а теперь начиналось утро, впереди ее ждала работа, и так много предстояло сделать.

Поздно вечером Аргуновы собирались вокруг фитилька на столе в столовой. Галина Петровна раскладывала по тарелкам чечевицу и пшенку. Их меню было не слишком разнообразным. Запасы пшена быстро таяли; то же самое происходило и с их сбережениями. Поскольку у них был лишь один масляный фитиль, после ужина Кира приносила свои книги в столовую. Она садилась за стол с книгой между локтей, зарываясь пальцами в волосы у висков. Ее раскрытые глаза поглощали кубы, круги, треугольники, словно захватывающий роман.

Конец ознакомительного отрывка книги

[Скачать полный вариант книги](#)